

Рассказы Ст.
Жизненное рево. 6.10

лит. газета — 1992. —

Юлий КИМ. «Летучий ковер». Песни для театра и кино. «Киноцентр». М. 1990.

КУХНЯ — для Кима она... Тут ничего нового не скажу. То же самое, чем была для притиснутой в угол интеллигенции все те долгие годы, пока страсти не могли выплеснуться на митинг (то есть выкричавшись, в то же время утратить особицу, потонуть в скандировании и реве) или утолиться чтением свежей газеты (утолиться, утомиться, примолкнуть). «Чай, стихов при огарке мергающем перечитано — слушано власть. Чай, гитара Высоцкого с Галичем тоже здесь, а не где, завелась».

«Огарок» при советской власти плюс электрификация — это для стилизации, для маскарада.

О гитаре. Почему именно ее аккомпанемент понадобился Окуджаве, Высоцкому, Галичу, Киму, дабы, с одной стороны, реабилитировать залгавшуюся песню, а с другой, быть может, и уравновесить избыточную шумливость эстрадной поэзии, ее агрессивный напор, — это опять-таки до банальности ясно. Домашний, «кухонный» инструмент, который и Лужники способен — или хоть может попробовать — обратить в подобие сиделок. Но тут и разгадка особенности именно Кима, его поэтики, одновременно изящной и броской; **кухня** здесь предстает во втором, лабораторном значении слова.

Ким всю свою жизнь играл, маскарадничал, лицедействовал, прикидываясь то бомбардиром или лейб-гусаром (изумительный цикл «12-й год»), то милым недорослем Бумбарашем (песни к фильму — тоже из шедезров его, к тому же экзамен на виртуозное владение словом: если не ошибаюсь, Толстой говорил нечто вроде того, что трудней всего сохранить такт и вкус, когда вкладываешь в уста персонажу речь литературно неправильную). Возможно, порою заигрывался, как многие



плодовитые авторы: во всяком случае, эта его книга и прочие, наконец-то начавшие выходить, заставляют вспомнить сетования Иосифа Бродского, обращенные к изданиям Рейна: в жадности, с какой издатели и авторы публикуют задержавшееся на пути к читателю, что-то, сказал он, есть от вдовы, у которой появились деньги и вот она наворачивает упущенное, кидаясь на тряпки и всюду, где можно, являясь в свет. Но проводя свой по возможности строгий отбор, оставляя Киму — Кимово, видишь, что масок на маскараде много, но чем они разнороднее и причудливее, тем оневиднее оттеняют то, что коли уж есть, так есть — и в единственном роде: индивидуальность.

И вот знаменитые персонажи отечественной классики, заговорившие, виноват, запевшие под кимозскую гитару в экранизациях и инсценировках (что на всеобщем слуху, отчего могу не цитировать), являют... Ну не то чтобы все не свой нрав, но с изрядной поправкой. Остап Бендер, добыв вожделенный двенадцатый стул, вдруг приторнозвит веселый напор и, странно сказать, загрузит, обнаружив, что поиск, процесс был для него дороже добычи и цели. (Истина, вятная художнику, но — чтоб охотнику за брильянтами?) Столл добродетели, фонвизинский Правдин проговорится или выговорится как сторонник демократии в кнутобойстве, каковым надлежит исправлять не токмо злодеев; нет, «тут же сечь и добродетель за преизбыток доброты!» Увалень Подколесин окажется увальнем из принципа, негибаемым своевольцем с интеллигентской истерикой, коему так отвратительна

18 марта (112) — С. 4

воля чужая, что он назло являет свою...

Что это? Возможность под маской и псевдонимом преодолеть скованность, обрести себя? Или природно присущая Киму жажда переполющений — это как бы расширение силового, даже и болевого поля, умножение точек соприкосновения с миром, пунктов сопереживания и сострадания?.. Последнее слово пусть не покажется чужеродным для игровой стихии этой поэзии; по возвышающей аналогии призову разговор Всеволода Иванова с Есениным: «— А ты веселый. — Не я веселый, а горе мое веселое».

Веселое горе — это наше; конечно, «наше» для тех, кому, как Юлию Киму, хватало сил сделать его веселым.

Итак, маскарад, песня, гитара, кухня — как аудитория; домашность, кружковость — как то, что задало тон поэзии и поэтике. Тон капустника, ибо интеллигентская эта забава так и просится быть названной? Нет, капустник — интим коллектива, в нем не выразишься индивидуально. Тогда (нельзя же забыть биографию Кима, долго ходившего в полувагах народа) — диссидентское, что ли, подполье, конспиративная кухня? Но в песнях — не шифр заговорщиков, и нравственно-эстетический код их — не диссидентский. Диссидентство — всегда противостояние, а песни Кима — поэзия малой, но тем более тесной соборности, и не зря ж у него возникает то, что в мечтах русского интеллигента присутствует всегда, пусть тайно, пусть стыдливо, — образ самого обязательного братства за всю нашу историю: «Все бы жить, как в оны дни, все бы жить — легко и смело. Не высчитывать предела для бесстрашия и любви. И, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багрянолистом девятнадцатого дня»...

Эка метнул! С московской прокуренной кухни, где по углам пустые бутылки, да... Впрочем, не дальше, чем от нас отстоят два всегда недоступных понятия: покой и **ВОЛЯ**.